

ЖРЕЦ

Рассказ

1

— Вам как новой сотруднице будет важное поручение, — сказал Костя с шутливой строгостью.

— Конечно, это не трудно, — улыбнулась Ксения.

— Пару раз в неделю достаточно, — сказал Костя.

И мы с ним цинически переглянулись.

Ксения должна была поливать цветок — диффенбахию, что стояла в кадке у окна. Чего проще?

Вы не задумывались, почему для организаций всегда выбирают именно такие цветы? Почему не розы, не фиалки? Я не знаю, как оно там по ботанике, но мне кажется, что розы, фиалки, георгины и вообще все благородное, тонкое просто погибнет в любом бюрократическом учреждении от самого воздуха; от слов: «Объем субвенций бюджету муниципального района на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий, где расчетная потребность для муниципального образования определяется по формуле...» Тут и люди не выносят. Людей в нормальном смысле тут нет.

Мы с Костей Калининым мутанты.

Но мы-то еще ничего.

А другие, другие прямо у-у-у!

Я как-то на досуге составил список. Вот что растет в учреждениях: хлорофитум, аспидистра, монстера — одни названия чего стоят. Все ядовитые. Почему так?

Потому что здесь трудимся мы, чтобы сделать мир еще безумней.

Хотя, конечно, растения как растения, все к ним привыкли. А эта диффенбахия была громадная, с широкими листьями в белых пятнах. Но дело не в листьях. Она обладала властью. Уничтожала человека как кадровую единицу. Причем именно того, который к ней приближался, поливал, например. Первой жертвой была Зинаида Анатольевна. Ее внезапно «сократили», причем никакого сокращения не было. И главное, как сократили! По-нашему, по-отечественному, без выходного пособия, то есть вызвали и сказали: пиши «по собственному». Она — руки в боки: с чего это! Уперлась. Хорошо. Выходит приказ: «В связи с производственной необходимостью перевести сотрудницу Дроздову З. А. специалистом...» и так далее. И отправляют ее в карачинский

Евгений Альбертович Мамонтов родился в 1964 году во Владивостоке. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Публиковался в журналах и альманахах «Дальний Восток», «День и ночь», «Октябрь», «Рубеж», «Сибирские огни». Лауреат премии имени Виктора Астафьева (2004) и премии О'Генри (2014). Преподавал русскую и зарубежную литературу в Дальневосточной государственной академии искусств. Член Международного ПЕН-клуба. Живет в Красноярске.

филиал. Это от нас четыре с половиной часа на междугородном автобусе в один конец каждый день. Типа, живи там и работай. Ну, делать нечего, написала «по собственному». Ушла от нас вот с такими глазами. Десять лет отрубил. Десять почетных грамот. Все притихли.

Потом был Жучков. Жучкова как бы и не жалко. Зинаида Анатольевна поливала цветок из любви к природе, а Жучков — чтобы заниматься хоть чем-нибудь вместо работы, чем угодно: взносы собирать, кулер водой заправлять. Летом он у окна сидел и самолетик во двор пускал. Всегда готов был сбежать для кого-нибудь за пищей. А если принимался за работу, то косячил так, что приходилось всем отделом исправлять. Так что Жучкова мы чуть не сами умоляли держаться от документов подальше, так проще. И никого не удивило, что его уволили, и сам он не удивился. Попрошался со всеми, улыбаясь, тихий такой, ласковый, даже стало жалко. Куда он теперь пойдет, бедняга.

Старобинец погорел случайно. Был он ответственный, прилежный, но чем-то неугодный начальству и поэтому тревожный. И вот весной назначили субботник. А Старобинец в пятницу напился. Я не знаю, регулярно он напивался по пятницам, или так совпало. Но только видит он, что уже утро, а рук своих не видит. Только по очереди, левую или правую, а обе сразу не может. И до чего же ответственный человек: пьяный, с одной рукой, а в половине шестого утра позвонил начальнику и сказал, что не придет, заболел, отравился. Успокоился и уснул. Но через пять минут проснулся в тревоге и позвонил заму, сказал, что у него трубу прорвало. Снова уснул на четверть часа. И к восьми довел и начальника и зама до истерики бесчисленными звонками и неисчерпаемыми версиями своих несчастий.

Потом пропала Ольга Завьялова. Красавица. Муж дипломат, атташе в какой-то латиноамериканской стране. Правда, муж бывший. Они разошлись. Потом он вернулся, но она его не приняла. Не смогла простить, так сказать. Правда, он вернулся не из Латинской Америки, а из колонии. Про Латинскую Америку Ольга «из вежливости» рассказывала, чтобы не порочить имя бывшего супруга. А он ее любил и всюду ходил за ней, даже на работу прорваться пытался. Говорил, что ему какая-то справка от нее нужна, потому что ведь неудобно постороннему какому-то охраннику все объяснять о любви к своей жене и о пяти годах колонии общего режима. В общем, довел он ее так, что Ольга взяла банку кофе и кинула, только не в него, а в голову начальника отдела, когда тот ей очередное замечание сделал по поводу ошибки в документах.

Но!.. Все они поливали этот цветок.

Это Костя первый заметил. Костя Калинин — человек наблюдательный. Аналитик. Он университет с красным дипломом окончил. А что толку? Много юристов кругом, хоть и с красным дипломом, а поди устройся на хорошую работу. Протекция ему помогла. Воткнулся он в одну консалтинговую компанию. Немецкая фирма. Работают наши, но шеф — немец. Косте помогло, что он два языка знал. Фирма солидная. Из тех, что сразу предоставляют вам бесплатный абонемент на фитнес и даже бесплатного стоматолога. Но и ответственность большая. И Костя Калинин, счастливый, надеялся с ней справиться. Прямо землю рыл, вникая во все. И вник однажды. То есть прорыл глубже, чем надо. Юристы фирмы нарочно проигрывали некоторые дела. По договоренности с контрагентом и за вознаграждение, конечно. Костя пошел к шефу-немцу и все доложил, раскрыл заговор. Немец руку ему тряс, головой кивал и в глаза глядел. А на другой день Косте пропуск на работу аннулировали. Ауфидерзейн!

С тех пор Костя Калинин смотрит на мир холодным и пронизательным взглядом. Его интересует одно лишь созерцание. Не знаю, правильно ли это. Но, во всяком случае, трудно. На меня жизнь каждый день глядит глазами тысячи дел, так что не зна-

ешь, за что хвататься, в какой угол прятаться. А Костя сам на нее смотрит, не сморгнув, да еще и улыбается иногда.

Он однажды сказал:

— Ты знаешь, это только с виду диффенбахия. А на самом деле я понял, кто это.

— Кто?

Костя отвел меня немного в сторонку:

— Это Иван Захарович.

— Как это? — опешил я.

— Пойдем покурим...

Был уже девятый час. Наше крыло совсем опустело. Мы прошли по темному коридору. Из открытого окна было видно, как на крышах догорает закат.

2

Я почти не застал легендарного Ивана Захаровича, проработал при нем меньше года. Но даже это дает мне фору перед другими сотрудниками. У нас все делится на тех, кто работал еще при Захарыче и кто пришел после. Первые это старослужащие, даже как бы фронтовики, а вторые — молодежь, салаги необстрелянные.

Иван Захарович был похож на старый советский танк, весь в заклепках бородавок. Его сделали на заводе. «Меня выковал рабочий коллектив». Так сам Иван Захарович говорил о себе: «Я родом с ЧТЗ». Он там начинал трудовой путь.

Я видел юношескую фотографию. Я не поверил, что это Иван Захарович. Красавец, похожий на молодого Чарли Чаплина без грима. Вы заметили, как красивы люди, жившие сто лет назад? Другая порода. Уже истребленная нами, мутантами.

Фотокарточка висела на стенде, который оформляли у нас к юбилею Ивана Захаровича. Там было много, но мне запомнилась именно эта своей невероятной удаленностью от нынешнего образа и все же очевидным сходством. Как будто... Не знаю. В общем, я задумался, как так происходит. У моего дедушки-ветерана был подарочный альбом «Л. И. Брежнев». Разбирая оставшиеся от старика вещи, я взялся перелистать и был поражен, каким красавцем с умными глазами был Леонид Ильич. Что тут поражаться? Не знаю, как сказать, но остается же внутри что-то от тех лет, от молодости, какой-то принцип конструкции? Или совсем ничего не остается?..

По Ивану Захаровичу казалось, что ничего. Все съела жизнь. Все нежное, задумчивое, всю мягкость и сладость. Вставила вместо этого стеклянные паспортные глаза и натянула резкие морщины.

Отпуск Иван Захарович проводил так: в восемь утра являлся на работу, начинал планерку, потом появлялся вечером, чтобы снова все проконтролировать.

«Как это вы не успели решить вопрос? У вас вся ночь была!» — кричал он.

Составляя график, ставил сроки выполнения заданий и на красные календарные дни, например на третье января или Первое мая. Мог выдернуть любого сотрудника из отпуска, вернуть его срочно звонком на работу после шести вечера. Сам порой сидел под своей лампой до середины ночи, как Сталин.

За опоздание на пятнадцать минут он увольнял.

За срыв сроков увольнял.

За допущенную ошибку увольнял.

Про него ходил анекдот. «Меня Иван Захарович похвалил». — «Как?» — «Дал неполное служебное соответствие». Тупой анекдот, но у нас смеялись.

А этот его юбилей у нас планировали грандиозно, но того, что вышло, никто предположить не мог.

Я помню, как Иван Захарович вызвал меня в кабинет. Были сотрудники, которые проработали по пять и больше лет, а вот так, с глазу на глаз с шефом никогда не беседовали.

Вера Степановна, начальник юридического отдела, тут же срочно заготовила приказ о моем увольнении, только не знала, с какой формулировкой. А я шел себе и в ус не дул, мне все равно было — уволят так уволят. Мне не очень тут нравилось. Я тогда в качестве стажера на испытательном сроке состоял, и все гадали, где я мог так накосячить, что меня сам директор вызвал, и кого вызовут вслед, чтобы он ответил за мой промах. Олег Олегович, начальник экономического отдела, перестал со мной за руку здороваться. Он был мой куратор. Считал, что я его погубил. А Вера Степановна, наоборот, улыбалась, но не потому, что сочувствовала, а как бы в благодарность, что я каким-то чудесным образом подставил Олега Олеговича, ее вечного противника. Такие нравы.

— Я тебе завидую, — сказал мне шепотом Костя Калинин. — Конечно, тебя выкинут... Но зато ты сможешь, когда подпишешь обходной лист, взять и послать «на» Веру Степановну, только без свидетелей.

— А почему Веру Степановну? — удивился я. — Почему не шефа?

— Потому что она главное зло.

Вера Степановна такая светская, фальшиво любезная дама. Но это не повод для ненависти, у нас все фальшивые, все с оглядкой, все запуганные, за что тут винить? Но Вера Степановна еще и барыня. Со своими приживалками, со своим двором и крепостным театром. Театр этот дает выступления трижды в год. На день рождения Веры Степановны, на День юриста и на Новый год. Но самый важный концерт, конечно, первый.

Бывают и небольшие «семейные» торжества. Это когда у кого-нибудь из подчиненных ее отдела день рождения. «Желаем тебе, Лиза, здоровья, успехов в работе, — поет Вера Степановна, — и выйти замуж, тебе уже пора». Лиза стоит с пластмассовым стаканчиком шампанского, как под пыткой, не зная, куда глядеть. Это ее самые горькие три глотка. «Спасибо, Вера Степановна...»

Как юрист Вера Степановна полный ноль, а если и имела какую-то квалификацию, то давно утратила ее за годы узаконенного безделья, вызванного отнюдь не ленью, но страхом самостоятельно принимать решения, пускай и согласно букве закона. Поэтому она все переадресовывает своим заместителям и сотрудникам отдела, чтобы при малейшем шорохе сверху свалить вину на них. Зато в угодничестве и лизоблюдстве доходит до самоотверженной святости, то есть до самого настоящего порока. То есть до такого порока, которого уже вовсе не стыдятся, а, наоборот, воспринимают как предмет гордости, когда есть уверенность, что даже в ум никому не придет посмотреть на это дело иначе как на триумф. И надо сказать, что большинство именно так и смотрело. Причем неизвестно, чего было больше в этом рабском усердии Веры Степановны — попечительства о карьере дочери или искренней глубокой угодливости перед высоким патроном. Я тут об известной истории говорю, о том, что Вера Степановна свою дочь подложила губернатору. И очень удачно. Потому что губернатор оказался человек благородный, хоть и женатый, пожаловал Светлане, дочери Веры Степановны, должность вице-губернатора. Щедро ведь, по-королевски. Что-то такое даже из романов Дюма. Впрочем, Вера Степановна предпочитала серию про Анжелику. «Анжелика и король»! Так, думаю, ей виделось. И чего же тут позорного, о каком сраме может идти речь?

Здесь Вера Степановна шла по знакомому ей пути, только уже в качестве наставника. Потому что сама пользовалась расположением очень высокого лица, вице-спикера Законодательного собрания, расположением и покровительством с его стороны в знак, так сказать, большого чувства и продолжительной связи, впрочем уже оставшейся в прошлом, но не забытой, как все поистине прекрасное. И теперь на перекрестье

этих двух лучей она чувствовала себя вполне уверенно и довольствовалась, в сущности, очень скромной должностью. Я это все к тому, что Вера Степановна была скромна.

А Иван Захарович ее не любил. Даже несмотря на эту выдающуюся скромность. Не любил, но поделаться ничего не мог. Выходило отчасти даже смешно. Иван Захарович, человек с таким стажем и положением в мире нашей новой, сложно устроенной бюрократии, был бессилен и сам стоял как бы на краешке, хоть и на своей вершине, но уже перед окончательной пропастью. И его место уже было обещано.

Так вот, когда я впервые оказался в его кабинете, несколько сумрачном, шторы были задернуты, горела настольная лампа, Иван Захарович, не удостоив меня приветствием и даже взглядом, бросил:

— Садись.

Иван Захарович ко всем обращался на «ты», но по имени-отчеству.

Он сам стоял у окна и курил сигарету, вставленную в медный мундштук. Тогда уже было запрещено курение в общественных местах. Но Иван Захарович велел дежурному пожарному отключить в его кабинете сигнализацию. Кстати, старичок пожарный был единственным «приятелем» Ивана Захаровича. Порой заходил к нему запросто покурить. Вера Степановна слегка опасалась этого пожарного, считая его конфидентом и тайным согладатаем шефа. А Олег Олегович всегда уступал этому старичку Козлову очередь в столовой.

Иван Захарович затушил сигарету в массивной «министерской» пепельнице толстого стекла.

— Это твой отчет, Андрей Николаевич?

Я кивнул.

— Молодец, толковый. Я тебя увольняю.

— Почему?

— По собственному, с сегодняшнего дня. Можешь идти домой, прямо сейчас.

— ?

— Завтра явишься в кадры, напишешь заявление заново, мне так удобней, я тебя в четвертый отдел заведующим ставлю. Там Зернов сейчас. Будет твоим замом...

— Но... Я не могу в четвертом.

— Почему? — он впервые посмотрел на меня прямо, до этого был занят, искал и перекладывал на столе бумаги.

— У меня образование не соответствует должности.

Он усмехнулся.

— Если не получится, я тебя сниму...

— Нет, но как же я буду, если у меня образование совсем не по профилю?

— Я школу в шестнадцать лет окончил. Несовершеннолетний. На ЧТЗ пришел. Ржавчину там отбивал и мусор вывозил. Ко мне однажды главный инженер подошел, спрашивает: «Образование?» — «Десятилетка». — «На логарифмической линейке можешь считать?» — «Могу». На другой день я в конструкторское бюро вышел, стал итээрм.

Зернов, полный, лысеющий блондин с голубыми глазами, был человеком ленивым до отваги. Так мне показалось вначале. Он любил коньяк. Впрочем, никогда не пил больше двух, ну, трех рюмок, после чего погружался в блаженное оцепенение за гранью этого мира, наличествуя в нашем низком быту только грубо предметно, без души, отбрасывая большую, как надгробие, тень. Я предполагаю, что он жил с одной только целью существования в *той* высшей, волшебной, не доступной никому природе. Уволить его шеф не мог из сентиментальности, Зернов был сыном давнего приятеля Ивана Захаровича, ныне уже покойного.

Зернов выпивал прямо на работе. Но ровно в шесть часов ноль одну минуту, то есть в нерабочее уже время. Не стесняясь, доставал фляжку, отвинчивал крышечку и наливал рюмочку, пятьдесят грамм. Потом клал ноги на соседний стул, руки принимал за голову, откидывался и закрывал глаза. Через пять минут повторял и потом сидел уже час. И так каждый день.

Я тогда не знал, что дома у него мать-инвалид, впавшая в деменцию старуха, невероятно разговорчивая, которая ходила за сыном по пятам, не давая ему покоя бесконечными вопросами: какой сегодня день, какое число, когда у нее будет пенсия, сколько теперь градусов на улице, как переключить телеканал... Привести домой какую-нибудь даму — всерьез или просто так — Зернов не мог. Сдать мать в богадельню тоже. Он мог только задерживаться на работе и выпивать. Сиделка уходила в восемь. У Зернова было каждый день полтора часа свободы. И в эти полтора часа он был счастлив. Ему было уже пятьдесят.

Мой приход он воспринял с облегчением, должность заведующего отделом его тяготила. Амбиций он не имел. Всегда охотно меня консультировал.

Юбиляр терпеть не мог юбилеев.

Подготовкой занималась, конечно, Вера Степановна. Она терпеть не могла юбилейра и, казалось, действовала по такому случаю с особым вдохновением, возможно, догадываясь, что причиняет ему страдание, причем под самым законным и даже благородным предлогом. Впрочем, такая изощренность мысли была чужда ее тихоходному разуму. Скорее сработал рефлекс искреннего преклонения даже перед ненавистным начальником. Она увлеклась и загорелась гениальной идеей.

На «гениальную идею» ее вдохновила книжка с картинками, подаренная недавно ее внучатому племяннику, — «Боги Древнего Египта». Это и без всяких кавычек было бы гениально, если только сделать правильно эдакую постановку, то есть с рабским трудом, с гигантскими кубами ненужных бумаг, из которых воздвигается бюрократическая пирамида, с тысячей писцов и бичами надсмотрщиков, с маршем из «Аиды». Но куда там...

Как-то после шести Иван Захарович шел по коридору мимо конференц-зала и остановился, привлеченный шумом. Это были удары молотка. Распоряжений о ремонте он не отдавал и нажал массивную медную ручку двери, но дорогу ему преградила Вера Степановна с испуганно-молящим выражением лица: «Репетиция». — «А что за грохот?» — «Декорация», — с тем же трепетом отвечала Вера Степановна.

Иван Захарович понимал, что это его последний юбилей, и стук молотка вызывал у него неприятные мысли. Он отвернулся и вышел.

«Из-за леса появилась конная милиция, становитесь, девки, раком — будет репетиция», — вспомнил он частушку еще заводских времен. Усмехнулся и несколько ободрился.

В самом деле готовилось нечто грандиозное, судя уже по тому, что прежние «постановки» обходились у нас без «декораций». Плотник Трофимов, числившийся при гараже, был человеком серьезным. В синей спецовке с большими простроченными карманами он явился и потребовал уважения к своей профессии: «Чертеж». Сразу поставил себя в обществе. Вера Степановна в замешательстве раскрыла перед ним книжку «Боги Древнего Египта». Трофимов посмотрел на цветную картинку, потом на Веру Степановну. Ему еще не доводилось строить ничего древнеегипетского.

По первоначальному замыслу на сцене должна была появляться «ладья миллионов лет», в которой будут боги Ра, Гор, Шу, Озирис, Изиды с папирусами — читать поздравления юбиляру. Но у этих богов сложные наряды, а без нарядов непонятно, кто они.

И даже в нарядах простому сотруднику нашего учреждения тоже непонятно. И даже если объяснить это, то было неясно, какого черта им сдался Иван Захарович. Разве что Озирис уже прибыл за юбиларом из царства мертвых. Тогда, подобно модным режиссерам, Вера Степановна решила осовременить трактовку. Пусть вместо богов будут три богатыря. А ладью переделать в струг и расписать под хохлому. Оно и патриотичнее выйдет.

Теперь главное было богатырей назначить. Охотников у нас до этого не водится. Вызвался один только Жучков, ну, это понятно. Взяли Зернова, он большой. Старобинец — третий, он тогда еще не уволенный был, пошел на Алешу Поповича. Девушкам раздали кокошники. Где они это барахло вообще берут? Тут мастера кресло починить или монитор заменить ждешь по три дня. Кокошник является сразу!

Главное — распределили роли и текст на бумажках. Артисты у нас понятно, что никакие, но в зачтениях по бумажке бывалые. Некоторые даже очень горячо и с выражением читают, как дети на школьном утреннике. Прямо бьют по словам, у меня так сестра на пиано играла, ее из пятого класса музыкальной школы вытурили, сказали: тебе не надо больше учиться, иди, не трать на это жизнь, спортом займись, молот метай. Она все пять лет об этом мечтала, то есть чтобы выгнали, во сне видела, а тут заплакала. Ну, женщины...

В день юбилея Иван Захарович явился похудевший, в белой сорочке и ходил, как мальчик. Он ничего не мог. Он был сегодня официальное божество и от этого страдал. Не мог даже накричать на разиню диспетчера. А он привык это делать. Неважно — виноват диспетчер или нет. Ивану Захаровичу это нужно было для тонуса, как зарядка. Наорать. И странное дело — «диспетчера» его любили. Ну да, он потом стрелял у них сигареты и курил, как с ровней, спрашивал: «Ну а вообще как?» И диспетчера говорили: «Нормально, Захарыч». А другие так не могли ему говорить, ну кроме пожарного Козлова.

«Для муниципальных районов, не относящихся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, норма протоколов в расчете на одного жителя муниципального образования в год с численностью более одного миллиона человек...» — слушал он на планерке, но не понимал, подошел к окну, отворил раму:

— Продолжайте, продолжайте...

В свой день рождения Иван Захарович, как многие, не замечая этого, становился обидчив. Уязвим. Все принимал «до личности», как провинившийся принимает на свой счет каждый кривой взгляд. В день рождения мы все вроде провинившихся. Принимаем поздравления с виноватым видом.

А некоторые, особенно женщины, обижаются прямо с утра, если за окном дождь. И даже без дождя что-то кажется не так. Люди и природа вокруг плохо стараются в наш день рождения. А если видно, что сильно стараются, то еще обиднее, потому что если так уж сильно, значит, не от души. И от этого еще обиднее. Но вы им прощаете и от этого прощения так за день устаете. Вообще, когда тебе исполняется столько лет, то думаешь... О! И не захочешь даже, а столько всего подумаешь, что от одних мыслей понуришься. Вот для этого и устраивают праздники, чтобы не думать, чтобы как-то без лишних мыслей проскочить эту дату. Анестезия.

Иван Захарович пришел на службу уже усталым. Заранее. Но крепился.

А Вера Степановна так и лоснилась от угодливости, так и рассыпалась.

Иван Захарович незаметно выдал большим пальцем таблетку из блистера и положил под язык. Весь день прошел у него, как в дымке. После шести уселся «в партере» на почетном месте, в кресле с ручками. Ладья сверкала, безобразно раскрашенная.

По бокам от нее расположили две раздвижные ширмы, как гармошки. За ними располагались широкие барабаны с намотанной, волнисто-голубой лентой. Лента пришла в движение, изображая волны. Народ ахнул, пораженный таким спецэффектом. Волны поерзали туда-сюда, то ли от несогласованности действий управляющих ими «механиков», то ли изображая рябь, и замерли, сильно натянувшись, причем одна, наиболее криво вырезанная волна остановилась как раз по центру. Богатыри с копьями (ручками от лопат, к верхушкам которых были прибиты крашенные серебром острые треугольники) выстроились в ладье.

Жучков начал с большим усердием, краснея от натуги голоса:

«Звучит солидно — юбилей. Ведь годы красят человека. Постарше — значит помудрей. Готов к строительству ковчега».

Вступил Старобинец: «Вагон здоровья, радости КамАЗ. Улыбок и задора целый воз. Вот богатырский наш наказ. Вы самый лучший босс!»

Зернов уже раскрыл было рот, но тут волны снова пришли в движение, и опять не в лад, то ли каждый из «механиков» потянул на себя, то ли что еще, но материя, сильно натянувшись, перекрутилась, и вместо ожидаемой надписи «Привет юбиляру!» появилось залихватское «Привет б..я!».

Первым захохотал Иван Захарович. Это не был искусственный, вызванный неловкостью смех. Иван Захарович сгибался пополам. Он ликовал, глядя на пунцовую Веру Степановну. Даже показал большой палец, не переставая хохотать, словно хвалил за остроумную задумку, чем окончательно парализовал ее. Весь зал грохотал. Не над Иваном Захаровичем. Даже не над приветствием, а именно над Верой Степановной, над ее публичным провалом.

Теперь юбиляр взял дело в свои руки и сразу объявил банкет. Выпрямился и с фужером в руке расхаживал щеголем. А после того, как Иван Захарович пригласил Лизу Скудельникову на вальс, в него влюбилась вся бухгалтерия. У нас никто не мог себе представить, что шеф танцует вальс.

Вера Степановна стусевалась в самом дальнем уголке.

Рассказывали столько про этот вечер, что доходило, при нашей всегдашней чопорности, до чего-то уже просто гомерического. Выходило, что приличнее всех повел себя Старобинец, который просто напился и уснул в ладье. Вроде бы гасили свет и играли в жмурки, причем водил сам Иван Захарович с завязанными глазами. И трудно представить, что там творилось в темноте. Я был в командировке, сам не видел и поверить в это не мог.

Но кое-что сходится у самых разноречивых свидетелей. Например, что Иван Захарович заметил, что Вера Степановна сидит в уголке, как сиротинушка, и тоже пригласил ее на вальс, а потом еще и руку ей поцеловал, а она заплакала. Ну, не знаю, это прямо кино какое-то, но с другой стороны, что уж такого особенного? Только с тех пор она его боготворила. То есть уже искренне, без лизоблюдства.

Вообще, после этого юбилея настало что-то такое, что бывает в природе после грозы: все сверкает, все опрокинуто, весело. Или в школе в последний день перед летними каникулами, когда в кабинетах пахнет сиренью. Все увидели друг друга заново, словно проснувшись, расколдованные, без чинов и должностей. В какой-то миг показалось, что все не нужно и было шуткой: все эти параграфы, статьи, директивы, секвенции, а можно просто жить. Правда, это солнце анархии светило недолго. Очень быстро, словно ряской стала покрываться сверкнувшая было вода, и солнце перестало в ней отражаться. Параграфы заново все оплели и задавили, имена стали пропадать, исчезли Зоя Борисовна и Олег Иванович, явились вместо них главбух и завхоз. И так с каждым. Все потонули там, в глубине и тине, и опять перешли на жабры, присоски и перепонки.

Но все же был какой-то просвет. И даже показалось, что можно жить по-другому. Светло. Пока не стало снова казаться, что по-другому жить никак нельзя, неправильно и свет этот был нехороший, всем только во вред, а надо жить — как положено, как прежде, и гордиться, потому что так всегда было заведено еще не нами, не нам и менять. И воцарился опять крепенький серый денек, в один из которых мы как раз и хоронили Ивана Захаровича.

Родственников у него не было. Во всяком случае, на похороны никто не прибыл. Я удивился тому, как мало народу из наших поехало провожать шефа, прямо неловко. Мы сидели в автобусе, как одна маленькая семья. Пожарный Козлов, Вера Степановна, зачем Калинин поехал, я не знаю, он человек вообще без сантиментов.

Спинки в автобусе были расположены против движения, чтобы мы не сидели спиной к гробу.

Это был крематорий. Иван Захарович так завещал.

— Здесь нельзя, — деликатно коснулся моего локтя служитель в черном костюме.

Я вышел покурить на улицу. Наш автобус, желтея, отражался в асфальте. На лобовом стекле была табличка «Груз 200». Всюду свое щегольство.

3

За открытым окном, словно раскинув руки, зажглись два фонаря. Тени деревьев вытянулись веером.

— Вот ты же не мог этого видеть, — сказал Костя Калинин, — а я видел.

Он говорил о том, что урну после церемонии забрала Вера Степановна.

— Ну и что? Наверное, отправила потом эту урну с прахом его родственникам или, я не знаю, в колумбарий.

— Да, — он затянулся и выдохнул дым длинной струей. — Только нет.

— ?

— Помнишь, у нас авария была, наше крыло обесточили?

— Это когда пожарная сигнализация сработала?

А у нас, надо сказать, стала часто срабатывать пожарная сигнализация. Просто так, ни с чего. Как бы в память о каждой незаконно выкуренной шефом сигарете.

— Да. А я в тот день задержался, доделывал замечания к постановлению о порядке предоставления субсидий, но не у нас, а у экономистов в кабинете. Домой уже собрался, десятый час был. А пальто мое в нашем кабинете осталось, я пошел.

— Ну?

Калинин посмотрел на меня.

— Я видел, как Вера Степановна пепел в цветок высыпала из той самой урны.

Он выбросил окуроч, тот прочертил дугу, ударился в провод и исчез в темной кроше тополя.

— Зачем?

Костя Калинин задумался:

— Стоило спросить, конечно... Но я как-то растерялся. Тем более она меня не видела. Неловко было.

— Ну а ты сам как думаешь?

— Что здесь можно думать! Что можно думать по поводу женского безумия?! Может быть, она хотела, чтобы тень его вечно витала в этих стенах. От любви. А может быть, наоборот, от ненависти решила его навечно заточить в нашем аду. А может, прочла, что так лучше растут диффенбахии. А может, дома боялась держать. Может, он ей из урны являлся по ночам.

- А может, это был не прах из урны, и ты перепутал?
- Нет. Я не перепутал.
- Как ты мог видеть? Темно же было.
- Ну, не так уж темно... У нее глаза, как фары, светились! Она ж упырь!

И, не дождавшись моего ответа, буднично добавил:

- Она урну как раз на моем столе забыла. Видимо, нервничала.

И вот с тех пор у нас стали пропадать люди. Это я уже говорил вначале. Нас было десять. Первой исчезала «по собственному» Зинаида Анатольевна, потом Жучков и Старобинец, за ними Завьялова. Костя стал развивать эту мысль.

— Я только после того, как Старобинца уволили, сообразил. Вернее, просто подумал. Нет, даже не подумал. Мне вдруг считалка вспомнилась.

- Какая?— спросил я.

— Десять негрятят.

— Это из фильма?

— Да. Нам тогда, помнишь, пообещали, что сокращений больше не будет, и чтобы мы взялись дружно за работу и так далее. А я знаю, что если начальство что-нибудь пообещает, то обязательно выполнит, но совсем не так, как обещало, и вообще так выполнит, что ты заранее этого никогда не угадаешь, потому что они сами этого не знают пока. Потому что у них тоже ведь начальство, которое тоже не знает, в какую сторону его сверху прогнут и каким раком поставят. Такая лакейская вертикаль. И я стал гадать, кого следующим. Но угадать не мог, пока не заметил, что увольняют того, кто поливает цветок. Это против всякой логики. Но работает!

- А при чем здесь считалка?

— Ни при чем, успокойся. Их десять, и нас десять. Пашем тут как негры...

— Че ты злишься?

— Да не злюсь я... Чего ты тупишь с этой считалкой?

— Это ты про нее сам сказал.

— Я к примеру сказал, просто... Тут главное не в этом. Главное в том, что они ведь увольнять никого не хотели. А так получалось, что увольняли. И именно того, кто цветок поливал. Есть над ними какая-то сила — вот в чем дело.

— Ты ведь пошутил про пепел? — спросил я.

Когда Костя Калинин сказал мне впервые, что увольняют тех, кто поливает цветок, я не поверил. «Ну да. Подметил забавное совпадение».

— Вот увидишь, — говорит, — следующим будет Попов.

Я засмеялся. Попова нельзя было уволить. Он взялся поливать цветок из галантности. Глаз положил на Зою Всеволодовну. «Позвольте я водички наберу». Отнимал у нее лейку и шел за водой. А она еще до него поливала. Такая брюнетка с пышными бедрами. Она Попову в дочери годилась. Нарочно мучила нашего доброго старичка Попова в этих его сединах и круглых очках. Для развлечения. Хотя он был не старый, только бороду отрастил себе седую, а так вполне орел, пришел к нам из «управления делами», на «бэхе» ездил и имел, думаю, вполне конкретные шансы в плане этой Зои. В силу своего высокого административного прошлого был он лицо, казалось, неприкосновенное. А тут бац — приказ «в связи с реорганизацией». И увольняют их обоих. Мы с Калининым только переглянулись и оба подальше от цветка держаться стали.

Попов сказал Зое: «Не волнуйтесь, я сейчас с этим всем разберусь». Вышел, прошел через двор, сел в свою «бэжу», и больше мы его не видели.

Калинин, правда, через месяц видел в ресторане с Зоей, разумеется.

Следующим был Якобсон. Маленький, сухонький педант. Он говорил, что в его фамилии ударение на первом слоге, всех поправлял. Стеснялся быть евреем. Его уво-

лить тоже не могли, он был «нужный человек», потому что усердный стукач. Цветок поливать не хотел. Но мы с Костей наотрез отказались, а Яacobсон сидел ближе нас к цветку. Он сжал губы, смирился и про себя, видно, взял нас обоих на заметку. Но и лейку тоже взял. «Готов», — тихо сказал Костя.

Собирая свои вещи, аккуратно складывая их на столе, Яacobсон временами поднимал глаза и смотрел на нас с Костей. Возможно, его интересовало, где он допустил ошибку. Мы старались не встречаться с ним взглядом. В одном из ящиков стола он забыл копеечную шариковую ручку, за которой не преминул зайти на другой день, и больше мы его не видели.

А вот Линейкину было жалко. Она носила из дома пирожки, угощала. Она, наивная, сама тогда вызвалась. И как вообще никто не замечал этого «рокового совпадения»? Люди слепы! Я предложил подбросить монетку — жребий — кому поливать. Но Калинин зажал мой кулак с монеткой: «Не надо». Он мне объяснил, что у Линейкиной муж в пароходстве большая шишка, капитан Линеикин, он ее прокормит, если что. И я спасовал.

Линеикина любила рассказывать про дачу. Вернее, у них был дом за городом. И ей очень нравилось выращивать в огороде ягоды и печь с ними пирожки. В общем, туда она, скорее всего, и отправилось.

А мы с Калининным сидели и смотрели друг на друга, как дуэлянты, потому что больше в отделе никого не осталось. И тут явилась эта Ксения с мелко завитыми волосами, похожими на гору черной икры. Небольшая, но все же отсрочка.

— Так вот, — сказал Костя, — пока Ксению не уволили, надо с этим цветком что-то сделать. Пусть подумают на нее. При нас же все было нормально.

Безжалостный человек. Жизнь сделала его таким.

И вот мы стали обдумывать варианты, как избавиться от растения, а списать на новенькую. Вернее, это Костя все предлагал, а мне все это не нравилось.

— Допустим, ты обманешь начальство, и подумают на Ксению. Но Ивана Захаровича ты не обманешь, — сказал я.

Он задумался.

— Может быть, он и сейчас уже все знает, — шепнул я, покосившись на цветок.

— А ты, вообще, на чьей стороне? — мрачно спросил Костя.

— Я на своей. Как и ты.

Я знал Костину дружбу до самого ее технического предела.

— Ладно. Подумаем еще, — сказал он.

Это был только первый день с новой «поливальщицей».

А на другой день с утра я зашел в отдел кадров, у меня там знакомая Тоня Боган. Я решил собрать кое-какую информацию обо всех уволенных из нашего отдела. В «кадрах» благодать! Цветы тоже стоят, но никого не трогают. Хотя, впрочем, что я знаю об этих растениях? Но дамы приветливые, есть красивые. Предлагают чаю. Формально они, конечно, да — врата. Те самые, через которые человек приходит и через которые уходит отсюда. Но держатся просто, без пафоса. Понимают, что и на них, «жрецов», тоже есть карточка в картотеке. То есть скромные люди. Но любопытные. Спросили меня: зачем? Пришлось соврать, что мне поручили, что для какого-то опроса надо.

Раньше карточки были в ящичках, это душевней. Теперь в компьютере.

Мне выписку составили с номерами телефонов всех сотрудников, уволенных за этот год.

А потом после обеда Калинин отозвал меня в сторону и сказал:

— Вот. Это щелочь. Добавим ее потихоньку в лейку, и все.

— Подожди, — сказал я, — еще пару дней.

— Зачем?

— Надо. Потом скажу.

Он пожал плечами.

И вот прошло два дня. И утром, на третий, я сам взял у Ксении лейку и сказал: «Можно я сегодня?»

Калинин выскочил за мной в коридор, сует мне порошок.

— Правильно, насыпь в туалете, а лейку Ксении отдай.

Я взял порошок, сунул в карман, а Калинин вернулся в кабинет решительный и довольный.

— Это мудро, что мы ответственность на троих разделили. Я принес порошок, ты насыпал, она полила. Может, Захарыч не догадается или запутается, — шептал мне потом Калинин.

И ждал. Все поглядывал на диффенбахию. Нервничал.

— Может быть, знаешь, надо какой-то ритуал, как были у древних охотников, когда они перед охотой молились и просили прощения заранее у всех этих бизонов? — спрашивал он меня.

— Ты что, хочешь помолиться диффенбахии? — спросил я.

— Ну, не самой диффенбахии...

— Захарычу?

— Типа того что-то...

— Хорошо, — сказал я. Мне было интересно поглядеть. И в обед мы оба встали и помолились у этого ведра, пока Ксения была в столовой.

— Уважаемый Иван Захарович, дорогой, прости нас. Ты был прекрасным человеком и начальником. Мы чтим тебя и уважаем, — Костя откашлялся и с обидой страдания в голосе произнес: — Мы тебя любим...

Я запомнил, как он это сказал.

Тут дверь открылась, и заходит Ксения. А мы на коленях у цветка стоим. Неловко стало. Но Калинин нашелся:

— Тут жучок такой интересный ползал.

Ксения поглядела на нас, как на сумасшедших. И я тогда впервые подумал: в уме ли мы?

Теперь я каждый день набирал воду, Калинин совал мне порошок, а Ксения поливала. И Калинин каждый день молился у цветка. Как главный грешник. А я просто стоял рядом, и Калинин упрекал меня как маловера за то, что я не молюсь вслух.

— Какая сила! — изумлялся и трепетал Калинин. — Третий день травим, и ничего. Теперь ты убедился, что это не простой цветок?

Я кивал, а Костя говорил цветку: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь и прости нас!»

И тут случилось непредвиденное: Ксения взяла больничный. Тогда поливать стал я. Калинин смотрел на меня как на героя.

А однажды я опоздал на работу. Ночевал у Тони Боган. Со мной это редко бывает. И ночевать, и опаздывать. У нее-то отгул был, в общем, неважно... Забегаю, а Костя Калинин сидит, как замороженный. Я подумал, что ему на планерке объявили об увольнении. Спрашиваю, что, мол, такое. А он молчит и пальцем на цветок показывает. Я смотрю и не вижу ничего особенного. Но против света смотрю, мне плохо видно. Подошел поближе и сам ахнул.

Зацвел!

Выпустил между листьев нежно-желтый початок. Я растерялся. Улыбаюсь.

А Костя Калинин плачет. И рот у него весь черный. Оказывается, он землю из цветка ел.

— Зачем?!

— Ну, чтобы он меня простил... и как причастие.

— Бог ты мой, успокойся.

Дал ему воды, а он пить не может, икает.

— Не бойся, это значит, что он нас простил, — успокаиваю я. — Теперь все будет хорошо. Мы с тобой, как в сказке, любовью сняли проклятие. Понимаешь?

— Правда? — всхлипывает Костя и зубами о стакан стучит.

Вот принято нас ругать. Все нас ругают. «Чиновники!» А ты — поди послужи чиновником, хоть год, и с ума не сойди. И я посмотрю на тебя. Потому что чиновник нарочно так поставлен, чтобы его и сверху, и снизу пекло.

— Иди домой сегодня, возьми отгул. Я сам тут справлюсь.

Он собрался, тихий, умытый, только ворот рубашки слегка перепачкан.

А на другой день нас всех уволили.

И Костю, и Ксению, и меня. Весь отдел полетел к едрене фене.

Приехал очень большой начальник с отложными щеками, голова его выходила из воротничка, как редька, и Вера Степановна семенила за ним, подобострастно посверкивая очками.

Рабочие в синих комбинезонах выносили мебель из нашего отдела. Когда все время занимаешься бумажками, приятно посмотреть на тех, кто трудится физически. Они кажутся здоровыми и счастливыми.

Костя бесчувственно сидел за пустым столом.

— Вот увидишь, это только начало, — сказал он. Видимо, считал, что с его увольнением должен рухнуть мир.

Когда рабочие взялись выносить его стол, мне показалось, что Костя кинется на него плашмя, как вдова на гроб.

Мы ждали расчета от бухгалтерии.

— Калинин! — вызвали его.

Мне стало скучно, и я взялся помогать рабочим, дожидаясь своей очереди за расчетом. Помог им спустить кое-что на первый этаж и вынести на улицу. Там было солнечно, и летела пыль от фонтана. Я постоял немного. Торопиться теперь было некуда. Думаю, никто не обращал на меня внимания. Да я и сам был теперь уже «никто».

Я в тот же день после расчета купил себе в хозяйственном магазине лейку.

Костю Калинина я с тех пор не видел месяца два. И вообще никого из наших не видел. Кроме Тони Боган. Мы встречались еще месяц с лишним.

Однажды в пятницу Тоня Боган поправила блузку, погляделась в зеркальце и сказала, что мы с ней больше не будем встречаться. Она так хорошо это сказала, так легко, что я улыбнулся и пошел проводить ее до перекрестка.

Ей не нравилось, что я не нашел новой работы. Она говорила, что я опустил.

Зажегся зеленый, она коснулась моего локтя на прощание.

Было еще светло, но уже зажглись в колбах личинки фонарей. Приятно было пройти через парк.

Однажды гуляя в этом парке, я думал об Иване Захаровиче. Мне пришла в голову очевидная мысль о том, что он ведь не один такой. Раньше все деревья были для меня на одно лицо, как толпа на улице. Я различал только березу и ель. Не отличал ясень от осины, орешник от боярышника. А теперь научился видеть и подумал, что все это бывшие люди. Возможно. Они выросли из праха наших предков, как цветок диффенбахии из пепла Ивана Захаровича. Сколько умерло людей за последние семь миллионов лет? Сколько выросло из них деревьев?

И тут я встретил Костю Калинина. На выходе из парка. Он не сразу меня узнал, посмотрел на мой плащ с оттянутыми карманами, на небритую мою рожу и смутился. Мне даже показалось, что я заметил в его лице волевое усилие, которым он преодолел мгновенное желание отвернуться, но было поздно. Он широко шагнул навстречу и протянул руку, улыбаясь. По нему была видна большая удача: по глазам, по костюму, по водителю, который открыл перед нами дверь служебной машины, но я-то все уже понимал... Поэтому я не удивился. А он стеснялся рассказывать, но потом его прорвало, когда водитель высадил нас у одного бара, и мы там выпили. Калинин рассказал, что сразу после увольнения ему позвонили из его бывшей немецкой фирмы. *Interne Untersuchund*¹. Пригласили. Там сидел уже другой немец Флориан, и Калинин ему все с жаром выложил, как было с этими процессами, нарочно проигранными, и как он все еще тогда раскрыл.

Калинин кидал бармену «повторить», мы чокались.

Словом, прежних всех во главе с Майером погнали и даже дело завели. А Костю как правдолюбца и пострадавшего за фирму с почетом назад и с повышением за невинные страдания и честную непреклонность.

— Я теперь иду на директора филиала, — Костя помолчал. — Я бы мог тебя взять. Но ты ведь не пойдешь простым водителем...

Мне было жалко портить его удачу рассказом о своей, и я кивнул.

Мы вышли.

— Ну, давай, брат...

Мы пожали друг другу руки.

— Да, — улыбнулся он, — интересно, как там наш Захарыч поживает в новом коллективе?

— А он у меня.

Калинин замер, не выпуская мою руку.

Молчание потому и золото, что тяжело. Молчать трудно, но это вознаграждается. В словах всегда размениваешься. И потом, уже нет у тебя того сокровища, которому ты один был обладатель. Если б я был трезвый, то не проболтался бы.

Тайной приятно дорожить. Она как бы испытывает твою волю. Закаляет. И одновременно приучает тебя к богатству, к избытку и роскоши. Кстати, психология определяет тайну с технической точки зрения именно как «избыток информации». Вот я этого избытка и не выдержал после пятого «Джонни Уокера».

Мы двинулись вниз по дороге вдоль парка.

Я рассказал, как в суматохе, под шумок, вынес нашу диффенбахию, когда помогал рабочим, и погрузил в свою старенькую «тойоту».

— Зачем? — Калинин удивлялся, он не мог понять, для чего я отвез себе домой этот «атомный взрыв». Костя считал, что распустившийся цветок был «атомным взрывом» Ивана Захаровича. Ну может быть, и так, если только бывают такие взрывы в положительном смысле. Костя считал, что это была реакция Захарыча на щелочь — чтобы показать свое могущество и бессмертие.

— Не было никакой щелочи. Я все порошки твои выбрасывал в унитаз.

— Выбрасывал?!

Я рассказал ему, что взял в кадрах телефоны всех уволенных сотрудников. Я не смог связаться со всеми. Но... Того, что я узнал, было достаточно, чтобы рискнуть.

— Почему ты мне не сказал?

— Потому что ты дерганый был, — ответил я.

¹ Внутреннее расследование (нем.).

- И что ты там узнал такого?
- Я узнал, что им всем хорошо. Всем, кто от нас через этот цветок ушел, — всем теперь хорошо. Жучков знаешь, чем занимается?
- Ну?
- Поет. В хоре. Недавно выступал на озере Тескоко близ Теночтитлана. У них гастроли были в Мексике. Счастлив до безумия. Вот такое сомбреро мне показывал.
- И я рассказал Косте про всех. Вкратце. Завьялова дом в Гурзуфе купила. Вышла за какого-то татарина-миллионера. Старобинец на доске катается, серфингом занялся через дауншифтинг. Квартиру свою сдал и живет на эти деньги безвылазно во Вьетнаме. Линейкина выращивает на своем огороде какие-то уникальные тыквы и выиграла международный приз. К ней садовод из Тюрингии приезжал, такой же безумный, выращивает цукини по тридцать пять килограмм. Я был у нее в гостях, она мне тыкву подарить хотела, но я не взял. Она в багажник не влезла. Зоя Всеволодовна вышла замуж за Попова, у них ребенок вундеркинд, в два года японский конкурс оригами выиграл, получил премию от Japan Foundation. Якобсон, нет, ты прикинь! Якобсон в Якутию уехал, оленей пасет и стихи пишет.
- Не может быть...
- О нем статья в газете «Алданский рабочий» с фотографией и стихами ко Дню оленевода: «Праздник тундры нынче всей. По флажку-отмашке. Хей, олени, хей, хей, хей! Вдаль летят упряжки».
- Калинин не нашел слов.
- Вот ты знаешь свой смысл жизни? Нет. И никто не знает. А спешат! Гребут куда-то, стараются. А может быть, они гребут как раз против смысла, не в ту сторону.
- Нежели Жучков поет? — спросил Костя.
- Поет. Они все поют. Раньше у нас ишачили, а теперь все каждый свое поют. Захарыч их всех, нас всех, освободил, понимаешь?
- Ты так думаешь?
- Уверен.
- Почему?
- Потому что они старше нас. А мы по сравнению с ними как дети, и они знают, что нам нужно на самом деле.
- Кто они? — спросил Костя.
- Растения. Я как раз об этом думал, перед тем, как мы с тобой там возле парка встретились.
- Я не догоняю, поясни.
- Это просто. Видишь ли, мы все однолетние.
- ?
- Мы за свою жизнь биологически переживаем одну весну, одно лето, одну осень и одну зиму. Потом все. Второй весны у нас не бывает. Мы взрослеем, мужаем, расцветаем, чахнем и умираем. А деревья они многолетние. И диффенбахия тоже. Они живут много жизней, они старше нас и мудрее. И под каждым почти деревом на этой планете лежит чей-нибудь прах. Весь растительный мир — это Иваны Захаровичи! Только мы не знаем имен. Не понимаем этого. А ведь это так просто. И если мы будем их любить, беречь, заботиться, то все получится и у нас.
- Ну, это ты чего-то загнул...
- Я махнул рукой.
- Так, стоп, подожди! Ну а тебе-то он что хорошего сделал? Ты же его спас! Ты главный, — остановился Костя.
- Как что? Мне открылась истина...

Он ждал, глядя на меня в упор:

— И все?

— Да.

— Да ну... Колись!

— А что? Неужели этого мало?

Он задумался:

— Ну и что же ты будешь с ней делать?

— А что с ней надо делать?

— Вот я и спрашиваю.

— Жить.

— А раньше ты не жил?

— Жил. Но не так! Я неправильно жил.

Покачав головой и улыбаясь, Калинин сказал:

— То есть все получили, кто чего хотел, а тебе — главный приз. Истина?

Я понял, что он не чувствует, не понимает. Это нельзя понять сразу. Это не каждый способен почувствовать. Мы шли под старой стеной городского парка, бывшего кладбища, вниз по дороге. Деревья чернели над стеной, строгие. Вечерние улицы вдали и вблизи были как будто нарисованы, а белая колокольня над нами одна настоящая. Тени от деревьев и фонарного столба лежали врозь, веером. Только одна звезда стояла над всем, очень простая.

Простые вещи понять сложно.

Я обиделся тогда за эту его усмешку. Ну, пьяный был...

Обиделся за то, что Костя мне не поверил. Забыл, как сам землю жрал! Вот так всегда, когда человеку плохо — он верит. А когда хорошо — забывает всё.

Утром голова болела, но я поближе к цветку лег — прошла.

Я вообще последнее время болеть перестал.

Иван Захарович стоит у меня в широком ведре у окна между шторами, и на него красиво падает свет по утрам, когда поют птицы.

Обладать истиной сложно. И может быть, никто не обладал ей так практически, так материально, как я. А ведь это так доступно каждому!

Но самое простое — труднее всего.

Мне каждый день надо что-то не нарушить. Внутри.

Я купил нитки и учусь вдевать их в иголку, штопать. У меня осталось две пары носков и пять пакетов ячневой крупы. Но когда я выхожу на улицу, все листья поворачиваются ко мне, как зеркала. Я в центре мира, и это особенно заметно после дождя.

Раньше моя жизнь была беспрестанным вращением, вихрем суеты. Я только горбился, шурился и закрывался. А теперь я в центре, в окне этого урагана, здесь тихо и светло. Я читаю книги, в основном по ботанике. Недавно впервые прочел «Войну и мир». Вы знаете — это лучшая книга о растениях! Можно сказать — поэма!

Родина диффенбахии — тропические леса. Я лежу, подложив руки под голову, и представляю себе эти леса, могучие храмы с красными колоннами махагониевых деревьев, иероглифами орхидей, лиловыми трубочками патагонской фабианы, алыми полураскрытыми губами психотрии. А где моя родина? И вообще, какое я растение? Араукария или, может, князь Болконский?

И ведь многие этого не знают! Думают о себе, что они торговые представители, советники юстиции, бухгалтеры или администраторы. Так и умирают в этом заблуждении. А если так умереть, то можно умереть в никуда, безвозвратно уже.

Я поэтому и читаю о растениях, чтобы найти — кто я.

Крупа кончилась, я заварил в микроволновке последние три ложки ячневой каши. Зато нашелся чайный пакетик. Я залил его кипятком в граненом стакане. Стакан стоял, просвеченный насквозь, против окна, и я любовался. Когда что-нибудь кончается совсем, начинаешь думать шире. Потом я лежал в ванне и слушал, как звонит домашний телефон. На сотовом деньги давно кончились. Капля светилась, повиснув на краю изогнутого крана, и сквозь этот маленький свет было видно далеко в сияющую даль. Вода совсем остыла, но мне не хотелось оттуда возвращаться. Я представлял себя водяным растением с широкими листьями, между которыми плывут оранжевые облака африканского заката.

В парке, на узкой аллее остановился грузовик. Рабочие в оранжевых жилетах лопатами сбрасывали из грузовика землю. От нее шел пар. Я сидел на скамейке и завидовал рабочим, деревьям, земле. Потом начался дождь, и рабочие курили под навесом.

Возвращаясь, еще из-за двери я услышал телефон. Он все звонил, пока я развязывал мокрые шнурки.

— Да?

Это был Костя. Он стал объяснять мне, что у него важное собеседование, он «идет на заведующего филиалом». Я слушал его не перебивая.

— Можно мне приехать? Полить цветок? — спросил он.

Он все повторял: «Алло, алло...» Я положил трубку. Задумался, достоин ли он? Придется посоветоваться. Я тихо открыл дверь в комнату к Ивану Захаровичу.